

## ЦЕННОСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ WELFARE-КАПИТАЛИЗМА

*Томас Хэмфри Маршалл*

Во второй половине XX века в странах Запада сложился особый структурный тип общества, совмещающий в себе три компонента – капитализм, благосостояние и демократию. Этот составной (гибридный) тип общества автор называет «дефисным обществом». Он отмечает, что его компоненты предполагают разные базовые принципы, или ценности, и что основные проблемы дефисного общества проистекают из того, что эти ценности не могут быть полностью и гармонично совмещены. Несовместимости этих ценностей демонстрируются автором на ряде примеров, относящихся как к макрополитическому уровню принятия решений в области социальной политики, так и к микроуровню индивидуальных случаев. Они являются для обсуждаемого типа общества постоянными потенциальными источниками конфликтов. Однако по-настоящему опасным для дефисного общества автор считает не ценностный конфликт между его компонентами, а устранение из его структуры любого из этих трех компонентов.

*Ключевые слова:* дефисное общество, социальная политика, ценности, капитализм, благосостояние, демократия, неравенство, бедность, система легитимного неравенства

Этот термин<sup>1</sup> я позаимствовал у Ричарда Кроссмана. Когда в 1952 году он написал статью в «Новые фабианские очерки», он дал критический

---

Перевод сделан по источнику: Marshall T.H. Value Problems of Welfare-Capitalism // Journal of Social Policy. Vol. I. Issue 1. 1972. January. P. 15–32. Перевод и публикация осуществлены с любезного разрешения издательства Cambridge University Press.

<sup>1</sup> Welfare capitalism. Термин welfare передается в тексте, в том числе в сочетаниях, двумя способами – как «благосостояние» и как «welfare». Особое затруднение вызвал перевод терминов welfare-capitalism, democratic-welfare-capitalism и производных от них прилагательных. Здесь они передаются как «welfare-капитализм», «демократический-welfare-капитализм» и «(демократическо-)welfare-капиталистический». Встречающийся

обзор текущего состояния социализма, аналогичный тому, который дали в 1889 году старые фабианцы. Он надеялся открыть «философию социализма», в которой бы теплилась жизнь. Но у него ничего не получилось. Очевидным местом, где ее следовало искать, было государство благосостояния, каким оно вышло из рук послевоенного лейбористского правительства. Он, однако, решил, что государство благосостояния не социалистическое, а является «кульминацией долгого процесса, в ходе которого капитализм был цивилизован и в немалой степени примирен с демократией». С тех пор он стал называть продукт этого процесса «welfare-капитализмом» [Crossman, 1952. P. 6, 25]. А между тем он должен был назвать его «демократическим-welfare-капитализмом», поскольку, как я докажу далее, демократия заслуживает того, чтобы ей отвели положение третьей стороны с независимым статусом, а не просто принимали ее как данность.

Не только Кроссман считал невозможным описать тогдашнее общество без помощи дефиса, письменного или предполагаемого. Другие чувствовали то же самое. Фактически можно сказать, что начиная с 1930-х годов XX века социальные системы Европы, если только они не были коммунистическими, фашистскими или «нацистскими» (в немецком языке слово *Nationalsozialist* всегда было единым), стали безнадежно дефисными (hyphenated), ибо были по существу составными. Эван Дурбин накануне войны собирался показать, как можно превратить «демократический капитализм» в «демократический социализм», и видел последний не просто как партнерство двух известных систем, а как, по выражению Тони, «новый социальный порядок» [Durbin, 1940]<sup>1</sup>. Он считал подлинный сплав двух систем возможным, ибо, по его словам, «в некотором сложном и важном смысле социализм необходим для демократии, и в этом же смысле капитализм с демократией несовместим. Однако есть еще простой и гораздо более очевидный смысл, в котором демократия необходима для социализма» [Ibid. P. 271]. Она была «незаменимым средством» достижения этой великой цели. Шумпетер в своей хорошо известной книге [Schumpeter, 1947. P. 296–302] обсуждал этот же вопрос. Капитализм, считал он, сам себя разрушает собственным успехом (отзвуки «Роллс-ройса»!), так что мы должны остаться с социализмом и демократией. Могут ли они быть плодотворно соединены? Является ли «социалистическая демократия»

---

в российской литературе вариант «капитализм благосостояния» был сочтен неприемлемым по следующим основаниям. Во-первых, он по смыслу не вполне совпадает с английским welfare-capitalism. Во-вторых, для Маршалла важна идея «дефисности», и сохранение дефисов в указанных терминах было принципиальной позицией. В-третьих, выбранные нами варианты были пригодны для образования соответствующих прилагательных; передача welfare исключительно словом «благосостояние» не позволяла бы это сделать. – *Примеч. пер.*

<sup>1</sup> Комментарий Р.Г. Тони располагался на суперобложке.

жизнеспособной политической системой? В этом он не был так уверен, как Дурбин. Третий пример дефисной политической терминологии, который мы находим, используется в отношении Швеции проф. Тингстеном; он говорит о «welfare-демократии» [Tingsten, 1955. P. 141].

Замена слова «социализм» словом «благополучие» (welfare) значима. Социализм, как его видели Дурбин и Шумпетер, был антитезой капитализма, антагонистом, с которым не могло быть ни сплава, ни компромисса. Ни один из них ничего особо не говорил о благополучии, а Дурбин дал ясно понять, что то, что он называет «дальнейшими мерами по улучшению», должно быть правильно размещено во времени и следовать «после, а не до социализации промышленности» [Durbin, 1940. P. 298]. Как и старые фабианцы, он считал, что как только будет установлена социалистическая система, все остальное последует само собой. Шумпетер тоже исследовал социализм как систему управления экономикой страны, а не как образ жизни. В 1950-е годы стал очевиден новый акцент. Хью Гейтскелл описал социализм в терминах его идеалов, первым среди которых шло равенство – «социальное равенство, которое для нас есть по сути то же самое, что и социальная справедливость», большее равенство (или меньшее неравенство) в доходах и «равные возможности для поисков счастья» [Gaitskell, 1956. P. 3–4]. Это стало целью, а «социализация промышленности» – средством или даже лишь одним из средств. Гейтскелл рискнул своим положением партийного лидера, предприняв попытку навязать эту точку зрения путем удаления из устава партии знаменитой статьи 4, обещавшей полную национализацию. Попытка не удалась, а мнения на этот счет разделились. Одним из сильнейших борцов за этот новый акцент был Энтони Кросленд, который писал после поражения лейбористов на выборах 1959 года: «Социализм означает веру в преимущество определенных ценностей, таких как равенство, кооперация, коллективное благополучие или интернационализм. Но такие ценности не абсолютны» [Crosland, 1960. P. 7]. Когда социализм был переопределен таким образом, а национализация была понижена до статуса средства, стало возможным или даже неизбежным дефисное демократическо-welfare-капиталистическое общество.

Это идейное движение охватило почти всю Западную Европу и было окрещено – кажется, Эдвардом Шилзом – «концом идеологии?» (со знаком вопроса). С тех пор это выражение постоянно употребляется для описания отказа от умонастроения, автоматически рассматривающего каждый вопрос партийной политики как дело принципа, отступление от которого хотя бы на шаг равнозначно предательству. Большинство тех, кто заметил в то время это изменение, приветствовали его. Они видели в нем победу рационализма и разумного сотрудничества. Они считали, по словам Гу нара Мюрдала, что политические установки сближаются, а область межпартийного консенсуса расширяется [Myrdal, 1960. P. 53], хотя были

и такие, кто видел в этом досадную утрату боевого духа и политической веры.

Поскольку в центре этого очерка находится социальная политика, то наиболее значимый факт здесь состоит в том, что в странах континентальной Европы положение «благосостояния» в дефисном демократическо-welfare-капиталистическом обществе никем не оспаривалось, а, напротив, неуклонно укреплялось, и сейчас оно встраивается в экономическую структуру общего рынка, хотя процесс этот медленный и еще не до конца завершен. Даже в США, обществе демократическо-капиталистическом *par excellence*, события шли в том же направлении, то есть в сторону принятия базовых принципов государства благосостояния. «Мы движемся к государству благосостояния, но делаем это без изящества, брюзжа и жалуясь на каждом шагу», – писал в 1965 году Гарольд Виленски [Wilenski, 1965. P. XVII]. В 1969 году президент Никсон заверял аудиторию, что не позволит Америке стать «военной диктатурой, государством благосостояния или полицейским государством» [New York Times, 1969], – несомненно, имея в виду поговорку «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Но в январе 1971 года в своем послании «О положении в стране» он поставил во главу угла реформу благосостояния, провозгласив, что «нынешняя система благосостояния стала чудовищным, вопиющим безобразием» [The Times, 1971]. Поэтому странно, что Британия, которая изобрела государство благосостояния, оказалась единственной страной, выразившей серьезные сомнения в некоторых его основных принципах. Атаки 50-х годов [MacLeod, Powell, 1952] были отражены, но консервативное правительство вновь подняло эти вопросы, притом так, что это грозит вспышкой идеологической войны.

Я не могу попытаться объяснить здесь эту разницу между британским и европейским опытом. Сделать это было бы нелегко, да и цели такой у меня нет. В этом очерке меня интересует общее – структурный тип, – а не тот или иной частный случай. Я приведу всего лишь два наблюдения. Во-первых, британцы были единственным народом, который боготворил государство благосостояния с самого начала, когда оно было еще очень несовершенным и незавершенным. Не удивительно то, что из дебатов о его дальнейшем развитии выросла реакция против этого идолопоклонства, спровоцировавшая, в свою очередь, мощную обратную идеологическую реакцию. Во-вторых, Британия, победно выйдя из долгой и изнуряющей войны, прошла путь от добровольного самоотречения через вынужденное самоограничение и далее через зримое изобилие к почти банкротству; поэтому ей труднее, чем, скажем, Германии, где почти полная разруха сменилась «экономическим чудом», спокойно отнестись к огромным расходам на первосортные социальные услуги и социальные пособия. Таким образом, проблемы, осаждающие этот составной тип общества, проявляются в Британии сильнее и, на мой взгляд, яснее, чем где бы то ни было.

Решив изучить эти проблемы через связь между тремя компонентами, которые я, вслед за Кроссманом, называю демократией, благосостоянием и капитализмом, я не хочу сказать, что это единственные потенциальные источники проблем. Я просто нахожу интересным структурный подход и считаю, что следование ему обещает быть плодотворным. Терминология, которой я пользуюсь, конечно, не совсем точна. Она указывает на элементы, наличие которых можно полагать тогда, когда страна с *капиталистической* рыночной экономикой развивает *демократические* политические и гражданские институты и практики, из чего возникает смешанная экономика, включающая как частный, так и общественный капитализм, схожим образом организованные и использующие одну и ту же калькуляцию, вместе с тем комплексом публичных социальных услуг, страховок и пособий, который является элементом, давшим имя тому, что известно миру как государство *благосостояния*.

Я начну анализ с макрополитического уровня и рассмотрю, как три указанных компонента дефисной демократическо-welfare-капиталистической социальной системы подходят к задаче принятия политических решений. Кеннет Эрроу говорил, что «в капиталистической демократии есть по сути два метода, с помощью которых может осуществляться социальный выбор: голосование, обычно используемое для принятия “политических” решений, и рыночный механизм, обычно используемый для принятия “экономических” решений». А чуть дальше он определяет центральную проблему экономики благосостояния как проблему «достижения социального максимума исходя из индивидуальных желаний» [Аггю, 1951. Р. 1, 3]. Демократический процесс и экономический процесс схожи в том, что оба берут массу индивидов, прогоняют их через институты – соответственно голосование и рынок, – регистрирующие их желания и реагирующие на них, и производят единый корпус ответов, набор цен в одном случае и состав представительных органов власти – в другом. Но если рынок достигает своего результата посредством комбинации, находя комбинированный эффект индивидуально выраженных желаний и тем самым приходя к тому, что Эрроу называет «социальным максимумом», то в случае голосования итоговый результат достигается посредством разделения, то есть сортировки выраженных желаний, позволяющей определить большинство, и последующего принятия желания *этого большинства* в качестве решения. Случай благосостояния отличен от обоих. Хотя здесь выраженные желания должны тщательно учитываться, мы не находим ни простого реагирования на них, ни простого подчинения им. Благосостояние отвечает за удовлетворение потребностей, а это – совсем другое дело.

В отличие от экономического процесса, основополагающий принцип государства благосостояния состоит в том, что рыночная ценность индивида не может быть мерой его права на благосостояние. Центральная

функция благосостояния как раз и состоит в вытеснении рынка путем изъятия из него благ и услуг или в каком-то способе контроля над ним и видоизменения его операций, позволяющем произвести результат, который не возник бы сам собой. История политических решений в области благосостояния, как и в любой другой сфере демократического управления, начинается со всеобщих выборов и отмечена на разных этапах использованием такого политического инструмента, как решение большинством голосов. Однако во всех случаях это лишь часть процесса, посредством которого делаются жизненно важные выборы, и в некоторых случаях она менее созвучна подлинной природе этих выборов, чем в других. Какие-то политические решения было бы, так сказать, правильнее выносить на плебисцит, чем другие. Связь между голосованием большинства и политическими решениями в вопросах благосостояния очень двойка. Демократическое голосование эгоистично; большинство голосующих голосуют за то, что, по их мнению, отвечает их собственным интересам. Чем всеохватнее право участия в выборах, тем более они кажутся легитимными, поскольку каждый может сам за себя высказаться. Решения, затрагивающие благосостояние, зависят от альтруизма – от заботы о других и от заботы друг о друге. В викторианской буржуазной демократии это было очевидным, так как правом голоса были наделены собственники, а нуждающиеся были этого права лишены. Не сказать, чтобы первые были совсем уж альтруистами, но только к их социальной совести могли взывать реформаторы, ища поддержки для осуществления мер, чреватых потерей голосов избирателей. Дайси был уверен, что если бы пенсионерам позволили голосовать – то есть если бы лица, получающие помощь, могли оказывать давление на своих благотворителей, – то правительство было бы коррумпировано и основания демократии были бы подорваны.

Эта идея утратила силу, и политики откровенно и громко обращаются к корыстным интересам избирателей. Не может ли быть так, что легитимность демократического эгоизма объясняет, хотя бы отчасти, упорную слепоту тотальной демократии к насущным нуждам меньшинств, которые по разным причинам неважны для результатов голосования? Когда каждый представлен в органах власти, легко допускается, что каждого приняли во внимание. Эта близорукая неспособность фокусироваться на вещах, выходящих за рамки собственного кругозора, может уравниваться и в существенной степени уравнивается масс-медиа, являющимися важной частью политического аппарата массовой демократии. На счету телевидения есть в этом отношении ряд замечательных успехов, но и у него есть свои ограничения. Дело редко удается разъяснить до конца, слишком долго муссируемая тема наскучивает, и шоковая тактика может производить лишь знакомую последовательность: искажение, сенсацию, забвение.

Часто даже и эгоизм – плохой судья собственных интересов, ведь в сфере благосостояния помощь предоставляется за счет одних людей другим людям, непосредственно в ней нуждающимся, а что касается тех, кто за нее платит, то им она обещана при обстоятельствах, которые могут казаться им далекими и гипотетическими. Людям свойственна привычка отождествлять заработок с «начисленной заплатой», выдаваемой на руки, относиться к тому, что было вычтено в виде налогов, как к чистому убытку и вносить мало либо вовсе не вносить денег на страховые счета работодателей или на кредитные счета, которые они могли бы методично пополнять и на которые могли бы опереться в будущем. Требования роста зарплат не связываются осознанно с одновременным ростом общественного дохода. Схожий близорукий эгоизм преобладает в настоящий момент и в промышленном аналоге политической демократии – профсоюзном движении, – грозя его разрушить. Профсоюз, напористо требуя повышения зарплат, часто почти не обращает внимания на положение других профсоюзов – разве что как на показатель «относительной депривации», – на возможные отдаленные последствия своих требований для профсоюзного населения в целом (включая его собственных членов) и даже на особые требования своих низкооплачиваемых членов. Сегодня в Швеции, по словам д-ра Курта Самуэльссона, профсоюзы «борются не только за все имеющиеся деньги и полный комплект дополнительных льгот, но и с равной силой за то, сколько одна группа урвет для себя за счет других» [Samuelsson, 1968. P. 272]. Я хотел здесь подчеркнуть, каким образом этос нормальных процессов политической и промышленной демократии выходит из гармонии с духом, необходимым для принятия политических решений на операциональном уровне в области благосостояния.

Решения, касающиеся благосостояния, следовательно, по сути своей альтруистичны и должны опираться на ценностные стандарты, воплощенные в автономной этической системе; последняя, хотя и является неотъемлемой частью нынешней цивилизации, не создается ни простым суммированием индивидуальных предпочтений (как на рынке), ни гипотетическим голосом большинства. Невозможно точно сказать, как эти этические стандарты возникают в обществе или признаются его членами. Всеобщий консенсус в отношении них без ревностного религиозного сообщества невысказан, но и без опоры на близость-к-консенсусу никакая общая политика общественного благосостояния не была бы возможной. Те, кто объявил «конец идеологии», вообразили, что мы пришли к золотой середине между безнадежным конфликтом и могильным единодушием – к тому «среднему пути», который, по мнению Дэниела Белла, не может удовлетворить никого, кроме людей среднего возраста [Bell, 1960. P. 375]. Как бы то ни было, нечестно было бы делать вид, что в решениях, относящихся к политике благосостояния, нет чего-то по существу авторитарного, или, если воспользоваться менее нагруженным, но довольно противным словом,

патерналистского. Дарендорф, например, пишет, что «в некотором смысле авторитарное государство всегда является государством благосостояния, также как и наоборот, государство благосостояния всегда содержит в себе авторитарный элемент» [Dahrendorf, 1964. S. 238]. В первую очередь, в политике благосостояния было бы мало проку, если бы она активно не содействовала созданию ценностных стандартов в своей области и утверждению консенсуса относительно них. Она по сути своей просветительна – не только в школах и колледжах, но и в системе здравоохранения и центрах социальной помощи, да и вообще во всем, что она делает, чтобы донести до публики и политиков подлинную значимость тех неспособностей и невозможностей, от которых страдают многие категории граждан. Всем этим она создает и довольно-таки откровенно насаждает понятия и стандарты благосостояния, которые еще не являются универсально принятыми. Несомненно, именно об этом идет речь у Гуннара Мюрдала, когда он, заглядывая вперед, в следующую фазу, говорит о «грядущем появлении “культуры благосостояния” в структуре государства благосостояния» [Myrdal, 1960. P. 67].

Три компонента моей дефисной социальной системы различаются также теми посредниками, через которых базовые политические решения преобразуются в программы действий и претворяются в жизнь. Каждому компоненту, на мой взгляд, соответствует свой тип агента, особенно тесно связанный с характерными для него процедурными методами, хотя все они в той или иной степени пользуются всеми тремя. Для экономической политики («капиталистического» компонента) это социальный ученый и технический специалист, для благосостояния – профессионал, а для общего политического администрирования – бюрократ. Многие исследователи социальной политики с подозрением относятся к тем, кто считает, что прогресс состоит в большем применении научных методов, таких как анализ издержек и выгод и построение моделей. «Мы, – говорит Мартин Рейн, – склонны переоценивать вклад социально-научных дисциплин и принимать “технические решения” вместо ценностных решений и политических выборов» [Rein, 1970. P. 10]. Если взять более свежий пример, то на это же указывали критики доклада комиссии Роскилла о третьем лондонском аэропорте. Это один из источников потенциального конфликта в дефисной социальной структуре. Еще один обнаруживается при сравнении профессионализма с бюрократией.

Профессионал занимает особое положение как в отношении публичной политики, так и в отношении ее осуществления на уровне индивидуального случая. Когда он (или она) на работе, он пользуется некоторой автономией, служащей дополнением к личной ответственности, от которой он, находясь на этой сцене, не может быть избавлен. В пределах, установленных его профессиональным мастерством и его официальной функцией, он принимает личные, то есть оригинальные, решения исходя из осо-

бенностей частного случая. У бюрократа куда меньше свободы: он гораздо сильнее связан правилами; он должен применять их ко всем одинаково и беспристрастно; он должен быть справедливым. Профессионалу, находящемуся на работе, не нужно думать о том, чтобы быть справедливым, он должен думать лишь о том, чтобы сделать наилучшее. Беспристрастность для него состоит не в одинаковом обращении со всеми случаями, а в отношении к ним с равной внимательностью. В то же время у профессионала есть право и долг критиковать проводимую политику и вносить свой вклад в ее улучшение, а у его ассоциации есть право и долг действовать в качестве группы давления в национальной и местной политике. Бюрократ ничего этого не может. Социальная политика должна использовать как профессионала, так и бюрократа, и они всегда с готовностью работают в одной упряжке. Самая строгая проверка их совместимости происходит в тех гибридных случаях, когда в ответ на требования благосостояния необходимо вынести шаблонное официальное решение в сфере, в которой нет правил. Должно быть вынесено дискреционное решение, являющееся как минимум настолько же бюрократическим, насколько и профессиональным. Очевидные примеры этого – распоряжение недоговорными денежными и натуральными пособиями, распределение жилья и, наверное, в особенности обращение с апелляциями на такие решения. Результаты, полученные в ходе недавнего исследования апелляционных судов, вызывают обеспокоенность, однако сам факт того, что мы используем это слово, предполагает то, что при условии полного понимания фактов проблема должна быть разрешимой. Ведь слово «обеспокоенность» означает осознание того, что попорана некая ценность.

Переходя от общего сравнения трех компонентов демократического welfare-капитализма к рассмотрению некоторых специфических областей, в которых можно ожидать обнаружения их несовместимостей, я не смогу здесь сделать больше, чем привести несколько примеров, и начну с авторитарного, или патерналистского, характера благосостояния, о котором уже сказал выше. Способность благосостояния входить в конфликты как с демократическими, так и с капиталистическими принципами, очевидна. Они могут затрагивать и производителей, и потребителей услуг в сфере благосостояния. Начнем с первых. Рассмотрим вначале вопрос об относительных ролях общественного и частного предпринимательства в области благосостояния. Если говорить о нынешнем положении дел, то мы имеем спектр случаев – от услуг, в которых большую или даже преобладающую роль играют добровольные организации или частное предпринимательство, до услуг, в которых государство обладает почти монополией, как в управлении больницами, или полной монополией, как в случае надзора за условно осужденными. Похоже, это указывает на то, что взгляд Гейтскелла на национализацию, состоящий в том, что трактовка ее как битвы между добром и злом является идеологической бессмыслицей, применим

к услугам в сфере благосостояния в такой же степени, в какой и к промышленности. Благосостояние дает простор и для общественного, и для частного предпринимательства, и критерием, на основании которого должны определяться их относительные роли, является эффективность в достижении желаемого результата. Но это слишком уж просто, а потому следует внести несколько важных уточнений.

Во-первых, ответственность правительства в области благосостояния более непосредственна и обязательна, чем, вообще говоря, в экономических делах. Одним из достоинств, приписываемых капиталистическому частному предприятию, является то, что оно может идти на риск и именно за счет этого получает немалую часть своих солидных вознаграждений. Но правительство не может допустить рискованных действий в сфере благосостояния, разве что в минимальной степени. Оно не может отдать сколько-нибудь значительную часть своих всеобщих обязательств в руки частных агентств, если при этом не предпринимает шагов по ограничению риска с помощью регулирования, надзора, инспектирования или страховочных сеток, например, когда частные пенсионные программы поддерживаются базовой государственной пенсией. В сущности именно катастрофические последствия частых провалов частных программ сбережений и пенсионных схем в XIX веке заставили европейские правительства вмешаться в эту сферу. Таким образом, различие между общественным и частным предпринимательством в сфере благосостояния не такое резкое, как можно было бы представить; это различие в степени.

Второе мое уточнение отталкивается от первого и подводит к новому пункту. Когда в какой-нибудь важной службе – например, в здравоохранении или в образовании – существует раскол или, если хотите, партнерство между общественным и частным секторами, а доля государственного участия существенно выше, общественное обслуживание должно быть потенциально всеохватным. Я имею в виду то, что государственная служба должна сделать свою услугу доступной всем, распространив ее на всю нацию, и должна быть готова предоставить ее каждому, кто вернется в нее из частного сектора (по финансовым или иным причинам), а также обеспечить услугами возможный сдвиг баланса спроса в ее сторону в подрастающем поколении. Чем крупнее частный сектор, тем труднее ей справиться с этой обязанностью, особенно в случае личных услуг. На этом основывается одно из возражений против предложения позволить людям «выходить» из общенациональных систем медицинского и образовательного обслуживания, уводя с собой часть вклада, вносимого ими в их финансовое покрытие. В описанных условиях «честная конкуренция» между общественным и частным секторами невозможна, ведь переход клиентов из первого во второй сокращал бы доходы общественной службы, не позволяя осуществить соответствующую экономию в расходах, и, расщепляя ресурсы, понижал бы достижимый в ней уровень эффективности.

Дело, однако, не только в эффективности. Здесь есть две ценностные проблемы. Во-первых, количественное изменение неизбежно и очень быстро привело бы к качественному изменению. Вскоре была бы достигнута такая точка, когда всякое представление о сообществе, преданном обеспечению жизненных потребностей своих членов посредством систем взаимопомощи, было бы утрачено, и равновесие между элементами, конституирующими демократическо-welfare-капиталистическое общество, было бы разрушено. Во-вторых, не подлежит сомнению то, что медицинская помощь и образование, входящие в жизнь всех граждан, являются областями, в которых различия возможностей и опыта, и в особенности институционализированный двойной стандарт (неизбежно из них вытекающий), больше, чем что бы то ни было, способствуют созданию и воспроизведению классовых различий. В нашей стране демократическое государство благосостояния удалось установить без упразднения и радикального изменения статуса привилегированных частных школ, однако они не могут сосуществовать до бесконечности в их нынешней форме. Любое умышленное увеличение и углубление этого вида социального различия посредством демократического политического решения означало бы не столько конфликт между элементами дефисного общества, сколько упразднение большинством самого этого понятия.

Меж тем и без предусмотрения такого фиаско нетрудно понять, что споры и конфликты вокруг идеи личных социальных услуг и управления ими будут непрерывными и что они не будут всецело техническими, свободными от ценностей спорами о лучших средствах достижения согласованных целей. Правда, я думаю, существует очень высокая степень консенсуса по поводу услуг в сфере благосостояния; без него никакого государства благосостояния быть не могло бы. Но при этом надобно помнить о двух вещах. Во-первых, если в случае услуг здравоохранения цели и средства можно различить со всей ясностью, то о такой услуге, как образование, этого сказать нельзя. Если в медицине можно проверять альтернативные способы лечения и отсеивать наименее успешные, то относительная ценность разных систем, или методов, образования может быть делом мнения и не поддаваться такой проверке. А потому очень важно, чтобы как в общественной системе, так и в частном секторе приемлемого размера и масштаба было обеспечено пространство для разнообразия. Во-вторых, средства, как и цели, тоже поднимают ценностные проблемы. Система, относительно которой можно было бы доказать, что она оптимально использует дефицитные ресурсы, может быть отвергнута на том основании, что она включает в себя проверку нуждаемости, оскорбительную для человеческого достоинства, – подобно тому, как политика, сулящая, как думается, в отдаленной перспективе экономическое процветание, может быть отвергнута потому, что породит на пути к этой цели неприемлемый уровень безработицы.

До сих пор речь шла о личных социальных услугах. Иначе обстоит дело в случае социального страхования (в отличие от «помощи»). Суть в том, что оно не относится целиком к компоненту благосостояния, а фактически стало частью условий найма. Право на социальный доход в периоды, когда наем прерывается или прекращается путем увольнения, вытекает из работы, выполняемой в соответствии с этими условиями, включающими вычеты из выплачиваемой заработной платы. Частью этих условий являются и взносы работодателя. Элемент благосостояния в этой системе, в разных странах разный, может состоять в мерах по привлечению налоговых поступлений – как поступал Беверидж – или в изменении соотношения между взносами и пособиями, которое обеспечивало бы перераспределение дохода в пользу низкооплачиваемых и связывало размер пособий со стоимостью жизни или, что более логично, с уровнем жизни или средними заработками. Наконец, установилась практика, при которой размеры взносов и пособий отражают шкалу дифференцированных заработков, достижимых на рынке труда, вплоть до некоторого потолка, и благосостояние тем самым в какой-то мере ставится в зависимость от рыночной ценности. Таким образом, социальное страхование есть гибрид благосостояния и капитализма и мост между ними. Столь плотно интегрированная структура не может быть пущена на самотек. Функционирует ли она всецело благодаря государству или, как часто бывает, благодаря некоторого рода партнерству между государством и частными фирмами, она должна быть согласованной во всех своих существенных элементах и, следовательно, контролируемой и принудительной. Если принимается такая система, то на вершине ее должен будет функционировать особый тип экономики, описываемый Артуром Селдоном как «глубокое и простое личное решение», в которое «свободное общество не будет беспечно вмешиваться» [Reid, Robertson, 1965. P. 189], и на этой вершине будет достаточно места для тех, кто ценит эту свободу и располагает средствами, чтобы ею воспользоваться.

Теперь я должен очень коротко взглянуть на суть дела с точки зрения потребителя услуг благосостояния. Авторитарный, или патерналистский, характер благосостояния может мыслиться как неизбежно ущемляющий его двумя основными способами, а именно: он ограничивает для него диапазон выбора и подавляет его инициативу и самостоятельность. Ясно, что здесь на карту ставятся ценности: ценности свободы и независимости, обе играющие решающую роль в демократическом и «капиталистическом» компонентах составного общества. Отсюда неизбежно возникает конфликт. Но на каком уровне? На мой взгляд, это в сущности своей не лобовое столкновение между непримиримыми представлениями (beliefs) и не состязание, рассматриваемое каждой стороной как битва между добром и злом. Благосостояние признает ценности свободы и независимости – не только абстрактно, но и в своей повседневной работе, и защитники этих

ценностей знают, что без некоторого их ущемления благосостояние не могло бы выполнять свои обязанности. Вы не сможете достичь оптимального использования редких умений и ресурсов в общенациональной службе, открытой для всех, если позволите каждому претенденту на ее помощь отбирать все, что ему вздумается. В некоторых случаях, таких как начальные школы, выбор ограничивается географически; в других отсутствует знание, на основе которого можно было бы сделать рациональный выбор. Следовательно, проблема здесь в балансе и пропорции, в принятии решения о том, сколько свободы выбора может быть обеспечено как внутренним распорядком общественных служб, так и работой частного сектора в сотрудничестве или, по крайней мере, в гармонии с общественным сектором. Что касается осуществления самой способности выбора, то для нее в нашей нынешней цивилизации существует, вероятно, больше простора, чем когда-либо раньше. И вряд ли она атрофируется.

На вопрос: не душит ли патерналистское благосостояние благотворные и ценимые качества инициативы, независимости и, если угодно, самостояния, – трудно ответить честно. Было бы лукавством исключать возможность того, что это будет в немалой степени происходить, с одной стороны. С другой стороны, абсурдно утверждать, что бесплатная медицинская помощь и бесплатное образование подрывают чувство личной ответственности за здоровье и образование себя и своей семьи. Нельзя забывать также и о том, что потребность в услугах благосостояния дает один из ключевых стимулов к такому типу социального действия, который наиболее эффективно интегрирует разнородные элементы сообщества. Вместе с тем в некоторых отношениях чрезмерный патернализм в благосостоянии может приносить обществу вред. Он может потворствовать допущению, что если нужно что-то сделать, то этим должны заниматься власти, а гражданам нужно только протестовать и митинговать. Это может давить инициативу в областях, в которых многое может быть достигнуто индивидуальными и еще больше совместными усилиями. Он может давать повод для еще одного, тесно связанного с первым допущения, что требуемая услуга должна предоставляться пользователям бесплатно. Так, движение «за свободу женщин», насколько я понимаю, требует предоставления женщинам бесплатных контрацептивов и бесплатных аборт по первому требованию. Но если консультации по предотвращению беременности и контрацептивы всем доступны, то доводы в пользу бесплатных аборт для всех перестают быть самоочевидными. При этом патернализм может расширять возможности для «растаскивания» общественных фондов. Я имею в виду не только и даже не в первую очередь откровенно мошеннические притязания на социальные пособия, ибо они относительно редки, но, скорее, готовность выжать все до последнего законного пенни с полным пренебрежением к общему интересу сообщества и тем последствиям, которое имеет для него такое своекорыстное действие, когда оно практикуется

в широком масштабе. Некоторые радетели за студентов, излагая свои доводы в пользу повышения грантов, видимо, не сознают, что налогоплательщиков, чьи сыновья и дочери не смогли попасть в университет, нужно убедить в правильности того, что они должны оплатить в полном объеме образование и содержание сыновей и дочерей других людей, сумевших-таки в него поступить. Однако различие, которое я провел между мошенничеством и просто растаскиванием, напоминает нам о том, что, обсуждая его в связи с благосостоянием, мы затрагиваем лишь краешек гораздо более широкой и общей проблемы, ведь на более высоком экономическом уровне ему соответствует различие между «уходом от налогов» (который считается респектабельным) и «уклонением от уплаты налогов» (которое таковым не считается, но тем не менее широко практикуется). Я хочу лишь отметить то, что благосостояние в какой-то мере за это ответственно и должно это сознавать.

Теперь я намерен обратиться к аспекту благосостояния на микроуровне индивидуального случая и вновь процитирую для начала экономиста, на этот раз Адама Смита. Он начал анализ ценностей с проведения различия между «потребительной ценностью» и «меновая ценностью», после чего посвятил все свое внимание последней, поскольку она была единственным их видом, интересным для экономиста. Но для благосостояния принципиально важна именно потребительная ценность. Смит называл ее также «полезностью», но не в современном смысле (цитирую Джекоба Винера) «попытки объяснить ценообразование в психологических терминах» [Page, 1968. P. 123]. Она не была субъективной в этом индивидуальном смысле. Ибо в своем известном примере он говорил, что алмаз, в отличие от воды, «вряд ли имеет какую-нибудь потребительную ценность». Это должно относиться не к ценности алмазов в глазах тех, кто их носит (она велика), а к некоторой общей оценке способности удовлетворить человеческую потребность (она ничтожна). Благосостояние, как я уже сказал, должно опираться в своем действии на этот род ценности и не может просто напрямую реагировать на индивидуальные, субъективные желания. Когда между этими двумя видами ценности возникает непреодолимое расхождение и последствия этого становятся нестерпимыми, благосостояние вмешивается и перехватывает инициативу у рынка. Возьмем пример жилья. Жилое здание является для домовладельца товаром, но для его обитателя это дом, и это два совершенно разных объекта. Когда жилых зданий недостаточно, а доходы у людей низкие, правительства всех стран стали вмешиваться и отстаивать то, что можно было бы назвать welfare-ценностью дома, в противовес рыночной ценности жилого здания, регулируя или замораживая плату за аренду жилья и приостанавливая действие нормальных прав собственности и договора так, чтобы гарантировать арендаторам право бессрочного пользования. Методы были грубыми, не опирались ни на какие принци-

пы оценки – субъективные или объективные – и односторонне защищали арендатора от домовладельца. Результатом была неразбериха.

Чрезвычайно интересно изобретение лейбористским правительством шкалы «справедливой арендной платы». Окидывая взором последние пять лет, «*Times*» отмечала следующее: «учитывая, что формула “справедливой арендной платы”, принятая в Законе об арендной плате за жилье 1965 года, теоретически бессмысленна... она работала удивительно хорошо и породила что-то вроде справедливости в отношениях между домовладельцами и арендаторами» [The Times, 1971]. Мало того, что это гораздо лучше грубой несправедливости, существовавшей раньше, но я еще и не согласен с тем, что формула бессмысленна. Она дает инструмент для достижения понятной обеим сторонам оценки, посредством которой разные типы ценности могут быть сведены к общему знаменателю. Она создает приемлемый баланс между «потребительной ценностью», или welfare-ценностью, и «меновая ценность», или рыночной ценностью, через опосредующее понятие ценности самой вещи, рассматриваемой в терминах ее физических свойств – размера, устройства, удобств, оснащенности и т. д., – которая оценивается не объективно как товар на рынке и не субъективно как свой домашний очаг, а как вещь, *предназначенная для использования*, которая может быть классифицирована и оценена в соотношении с другими вещами того же рода. В формуле были учтены интересы обеих сторон, что и должно делаться, если государство продолжает отчасти зависеть от частного жилого сектора в выполнении своих обязательств перед гражданами и их семьями.

В качестве последнего примера я возьму тему бедности и неравенства. В последнее время стал очевидным отход от идеи «черты бедности» к тому воззрению, что понятие «бедности» не имеет никакого значения, кроме как в относительном смысле, тогда как понятие «черты бедности» предполагает возможность мыслить ее абсолютно. Это сопровождалось утверждением, что реальной проблемой является не бедность, а неравенство. Если это означает, что бедность относительна и соотносится со стандартом цивилизованности соответствующей страны, то здесь не о чем и спорить; но если это означает, что я не могу сказать, что *A* беден, а могу лишь сказать, что он беднее *B*, то с этим я не могу согласиться. Если это означает, что неравенство – серьезная социальная проблема, а бедность является ее частью, то это бесспорно; но если речь идет о том, что проблемы бедности и неравенства тождественны и неразделимы и что, стало быть, бедность невозможно искоренить, не решив проблему неравенства, то вот этого принять я уже не могу. То, что я говорил выше о welfare-ценности и стандартах благосостояния, предполагает веру в то, что при нынешнем состоянии общества возможно и необходимо держать в поле зрения состояние нужды и лишений, которое должно осуждаться как недопустимое, и даже если никакого точного измерения и определения этого состояния дать

нельзя, мы можем говорить о нем как о «бедности». Бедные остаются категорией, а то, что ее границы в другом месте или в другое время будут иными, вовсе не делает ее менее абсолютной для той страны, в которой она существует. Признание бедности проблемой, а бедных – категорией не означает также и того, что все формы бедности одинаковы; напротив, оно подчеркивает ценность проведения тонких исследований ее отличительных черт. Общим фактором в состоянии бедных является крайность их нужды.

С этого момента сложность обсуждаемой темы обязывает меня принять «идеально-типический» подход и спросить, какое место отводится бедности и неравенству в демократическо-welfare-капиталистическом обществе, если оно, так сказать, осуществилось. Ответ простой: в таком обществе бедность является болезнью, а неравенство – неотъемлемой структурной чертой. Мы, вплетенные сегодня в такую составную социальную систему, давно отвергли теорию необходимости бедности, которую озвучил некогда Патрик Колхаун, назвавший бедность «самым необходимым и незаменимым ингредиентом в обществе» на том основании, что «она источник богатства» [Colquhoun, 1806. P. 7–8]. Мы отказались от веры в эволюционную благотворность бедности как механизма отсеивания неприспособленных. Мы больше не воспринимаем бедность как неизбежное и вечное пристанище людей, потерпевших личную неудачу в конкурентной борьбе, и даже не особенно налегаем на страх перед бедностью как стимул к работе, о чем свидетельствуют пособия по безработице и выходные пособия для увольняемых. Логического места для бедности в этой системе нет, но она упрямо остается с нами, и потому мы ее облегчаем – когда замечаем. Не так давно она стала почти невидимой, но теперь проявилась снова. Невидимость бедности в западном мире – регулярно проявляющийся феномен.

Задача устранения бедности из нашего «идеального типа» общества требует совместных усилий благосостояния и капитализма; другого пути нет. Мы не только не находим ни в истории, ни в нынешних делах свидетельств того, что конфликт между этими двумя компонентами непременно губит всякие попытки совместного решения, но, напротив, ясно, что наш особый тип социальной системы подошел к достижению этой цели ближе, чем любой когда-либо существовавший или ныне существующий, – если только не принять радикально релятивистский взгляд и не утверждать, что бедность упраздняется в обществах, в которых беден каждый. Более того, механика процесса понята, инструменты готовы и лежат на верстаке, и все, что теперь нужно, – это воля ими воспользоваться и период экономического затишья и стабильности, достаточно долгий, чтобы была возможность овладеть всеми хитросплетениями проблемы и вовлечь в сферу действия все многообразие исключительных и нестандартных случаев. Здесь нет необходимости – да и места – давать описание эти механизмов и инструментов; их репертуар и возможности хорошо известны в нашей стране

благодаря работам Питера Таунсенда и других. А потому я сосредоточу внимание на своей последней проблеме – проблеме неравенства; это область, в которой разные принципы и давления трех компонентов дефисного общества труднее всего примиряются друг с другом.

Демократия означает равенство прав гражданства. Цель услуг в сфере благосостояния – предоставлять людям равную помощь в схожих случаях. «Капитализм», или рынок, живет признанием и вознаграждением неравенств и зависит от них в обеспечении движущей силы, заставляющей его работать. Когда этот процесс шел своим чередом, а благосостояние подбирало жертв, проблемы не было. Очертания неравенства в целом определялись рынком. Но с тех пор случились две вещи. В дело вмешалась демократия. Во-первых, она сделала возможным коллективный торг, и это привело, в свою очередь, к официальному признанию разницы в оплате труда как внутри трудовых подразделений, так и между ними. Во-вторых, она сформировала – где-то в социально-экономической атмосфере – представление о том, что, правильно прочитывая культурные знаки, можно сказать, как должен оплачиваться труд человека того или иного рода, особенно если он состоит на государственной гражданской службе или является профессионалом. Разнице в оплате труда была придана этическая окраска. В-третьих, демократия создала видимость уменьшения неравенств и приведения их в соответствие с этической шкалой, в части денежных доходов, посредством высокого прогрессивного налога. Демократия, можно сказать, легитимировала неравенство (поскольку вы ведь не облагаете налогом краденое), и сделала это с помощью профсоюзов.

Второе, что произошло, – это привязывание социального страхования в типичных богатых западных странах к неравенствам рынка посредством связывания всей его системы взносов и выплат к различиям в заработках, но до некоторого установленного потолка. Поскольку социальное страхование, как я уже сказал, содержит элемент благосостояния и образует мостик между «капитализмом» и благосостоянием, то можно сказать, что благосостояние, как и демократия, легитимировало неравенство. Никакого заговора во всем этом не было. Здесь мы имеем дело с конвергенцией, без которой составная социальная система имела бы мало шансов стабилизироваться и не могло бы быть никакого «конца идеологии». Это никоим образом не подразумевает одобрения какой бы то ни было конкретной шкалы неравенства.

Итак, мы имеем положение, в котором все три компонента принимают неравенство, но без согласия по поводу его паттерна в тех или иных деталях. Очевидно, что никакого фиксированного паттерна быть не может, поскольку это привело бы к окостенению всей экономической системы. Вдобавок к тому нет согласия в том, какой принцип применить для получения паттерна, и ясного представления о том, где такой принцип искать. Высокие темпы роста могут прикрывать массу грехов, но при наших низких темпах

очевидна неразбериха и всерьез нарушен ход жизни. Престиж, политика и рыночная власть прячут от глаз более простые факты относительной продуктивности, создавая состояние неопределенности, в котором всюду расцветают зависть и «относительная депривация» – не только внизу, но и на верхних ступенях социальной лестницы и, вероятно, меньше всего как раз среди бедных. Вот почему я сказал, что бедность и неравенство являются разными проблемами, если рассматривать их структурно. Бедность – это опухоль, которую нужно и теоретически можно вырезать; неравенство же – жизненный орган, который скверно функционирует.

Это плохое функционирование системы легитимного неравенства есть, вероятно, наиболее фундаментальная угроза жизнеспособности гибридной, или дефисной, социальной структуры. Это не просто способ сказать иначе о том, что наиболее разрушительным фактором в обществе является классовая борьба. Конечно, реакция на экономические неравенства окрашена властной структурой промышленности, а в британском обществе еще и специфической устойчивостью исторических форм классового сознания. Но, как доказывает д-р Самуэльссон на примере Швеции, эти черты не являются необходимыми. Проблема в том, что не было найдено способа уравнивать ценность человека на рынке (капиталистическую ценность), ценность его как гражданина (демократическую ценность) и ценность его для самого себя (welfare-ценность). Однако это еще не все. Демократический компонент и компонент благосостояния имеют свою внутреннюю нерешенную проблему: как найти баланс, настолько совершенный, чтобы утихло всякое недовольство, между равенством людей и их обстоятельствами, с одной стороны, и равенством возможностей, этим великим архитектором неравенства, – с другой? Решению этой дилеммы мешает избыток той субъективной и всецело индивидуальной оценки социальной несправедливости, которую социологи называют «относительной депривацией», но которую наши предки относили (под более простым именем) к семи смертным грехам. В этих условиях наивно думать, что различия в оплате труда можно сделать приемлемыми, просто сделав их умеренными, как бы необходимо это ни было. Этого можно достичь только изменением установки по отношению к ним. Проблема эта структурная по происхождению, но нет чисто структурного ее решения.

Нерешенность проблемы экономического неравенства – свидетельство слабости сегодняшней демократии. Поскольку задача поддержания баланса между составными элементами системы ложится именно на демократию, то это опасная слабость, но она не критична и, надеемся, не несправедлива. Что нам больше всего нужно, так это улучшение двусторонней коммуникации, призванное восполнить нехватку контакта и понимания между политиками, бюрократами и общественностью, и примирение ролей двух конкурирующих демократий – политической и промышленной – во властной структуре. Сегодня может показаться, что в нашей стране дух

капитализма, предшествовавшего государству благосостояния, берет верх над демократическим компонентом и тем самым угрожает статусу благосостояния в системе. Но, судя по всему, и это тоже временное отклонение, реакция на которое всегда проявляет себя в глубоких тайниках общественной совести. Капитализм опаснее всего, когда он слаб и напуган, а не когда он силен и уверен в себе, и недавние меры, призванные сэкономить на благосостоянии, являются в значительной степени спешной реакцией на панику капитализма и, будучи таковыми, вряд ли будут встроены в систему. Я твердо уверен в том, что основным следствием отношения к школьному питанию как ко всего лишь расходной статье станет инициация изучения реальной функции школьного питания в связи со здоровьем детей и социальной жизнью школы и семьи. Оно, можно сказать, уже началось.

В заключение, дабы окинуть единым взглядом эти весьма отрывочные наблюдения, надо вернуться в начало, к тому «концу идеологии», который был провозглашен в демократическо-welfare-капиталистическом обществе. Ожидалось, что он принесет с собой консенсус по поводу базовых проблем и ценностей. Даже самый поверхностный взгляд на историю Западной Европы последних десяти-пятнадцати лет показывает, что этого не произошло. Но беспорядки этих лет проистекали, на мой взгляд, не из несовместимости трех рассмотренных мной компонентов. Между ними, конечно же, был конфликт. Но конфликт – нормальная черта каждого здорового общества. Беспорядки, приобретшие в последние годы новую тональность, были чем-то другим. Отчасти они были исполнением пророчества Шилза, написавшего в 1955 году, что если полностью запретить идеологию, то она «проникнет через черный ход, или, конкретнее, через бунтарское молодое поколение» [Shils, 1955. P. 57]. И также они были отчасти выражением разочарования многих людей старших поколений в господствующих ценностях их обществ. Но хотя принципы и практики демократии, капитализма и благосостояния были объектами массивной критики, в последней отражались не развертывающиеся между ними битвы, а неудовлетворенность тем целым, частями которого они были. Материализм, стремление к прибыли, культ количества и мания роста присущи не только капитализму; все современное технологическое массовое общество насквозь ими пропитано. Бюрократические эксцессы и неповоротливость – не только политическая болезнь; мы находим их в экономике, университетах и даже в благосостоянии. Преобразованием, которого ищут более целеустремленные и менее деструктивные из глашатаев наших нынешних недовольств, является преобразование, скорее, установок и ценностей, нежели базовой структуры, хотя институциональных изменений тоже ищут как средства для достижения этой цели, наравне с сохранением окружающей среды. Я не вижу причин для того, чтобы их цели не могли быть достигнуты, если они вообще достижимы, в том социальном каркасе, который включает представительное правление, смешанную экономику и государство

благополучия. Единственной альтернативой является нечто более тоталитарное и бюрократическое, а это совсем не то, к чему стремятся наиболее оригинальные и значимые элементы в движении протеста.

### Список литературы

- Arrow K.* Social Choice and Individual Values. L.: Chapman and Hall, 1951.
- Bell D.* The End of Ideology. Glencoe, IL: The Free Press, 1960.
- Colquhoun P.* A Treatise on Indigence. L.: Hatchard, 1806.
- Crosland C. A. R.* Future of the Left // Encounter Pamphlets, 1960. № 14. P. 3–12.
- Dahrendorf R.* Gesellschaft und Freiheit. München: Piper, 1964.
- Durbin E. F. M.* The Politics of Democratic Socialism. L.: Routledge, 1940.
- Gaitskell H.* Socialism and Nationalisation, Fabian Tract 300. L.: The Fabian Society, 1956.
- MacLeod I., Powell J. E.* The Social Services – Needs and Means. Conservative Political Centre, Research Series, 1952.
- Myrdal G.* Beyond the Welfare State. L.: Duckworth, 1960.
- New Fabian Essays* / Edited by R. H. Crossman. L.: The Turnstile Press, 1952.
- New York Times.* 1969. 4 June.
- Page A. N.* Utility Theory: a Book of Readings. N. Y.: Wiley, 1968.
- Reid G. L., Robertson D. J.* Fringe Benefits, Labour Costs and Social Security. L.: Allen and Unwin, 1965.
- Rein M.* Social Policy: Issues of Choice and Change. N. Y.: Random House, 1970.
- Samuelsson K.* From Great Power to Welfare State. L.: Allen and Unwin, 1968.
- Schumpeter J. A.* Capitalism, Socialism and Democracy. L.: Allen and Unwin, 1947. (Рус. пер.: Шумпетер Й. А. Капитализм, Социализм и Демократия. М.: Экономика, 1995.)
- Shils E. A.* The End of Ideology // Encounter. 1955. Vol. 5. № 5. P. 52–58.
- The Times.* 1971. 25 January; 3 March.
- Tingsten H.* Stability and Vitality in Swedish Democracy // Political Quarterly. 1955. Vol. XXVI. № 2. P. 140–151.
- Wilenski H. L., Lebaux C. N.* Introduction // Industrial Society and Social Welfare. N. Y.: The Free Press, 1965.

---

Томас Хэмфри Маршалл (1883–1981)

британский социолог и исследователь социальной политики,  
преподавал в Тринити-колледже (Кембридж, 1919–1925),  
в Лондонской школе экономики на факультете социологии (1925–1956), директор  
департамента социальных наук ЮНЕСКО (1956–1960)

(Пер. с англ. В.Г. Николаева)

---